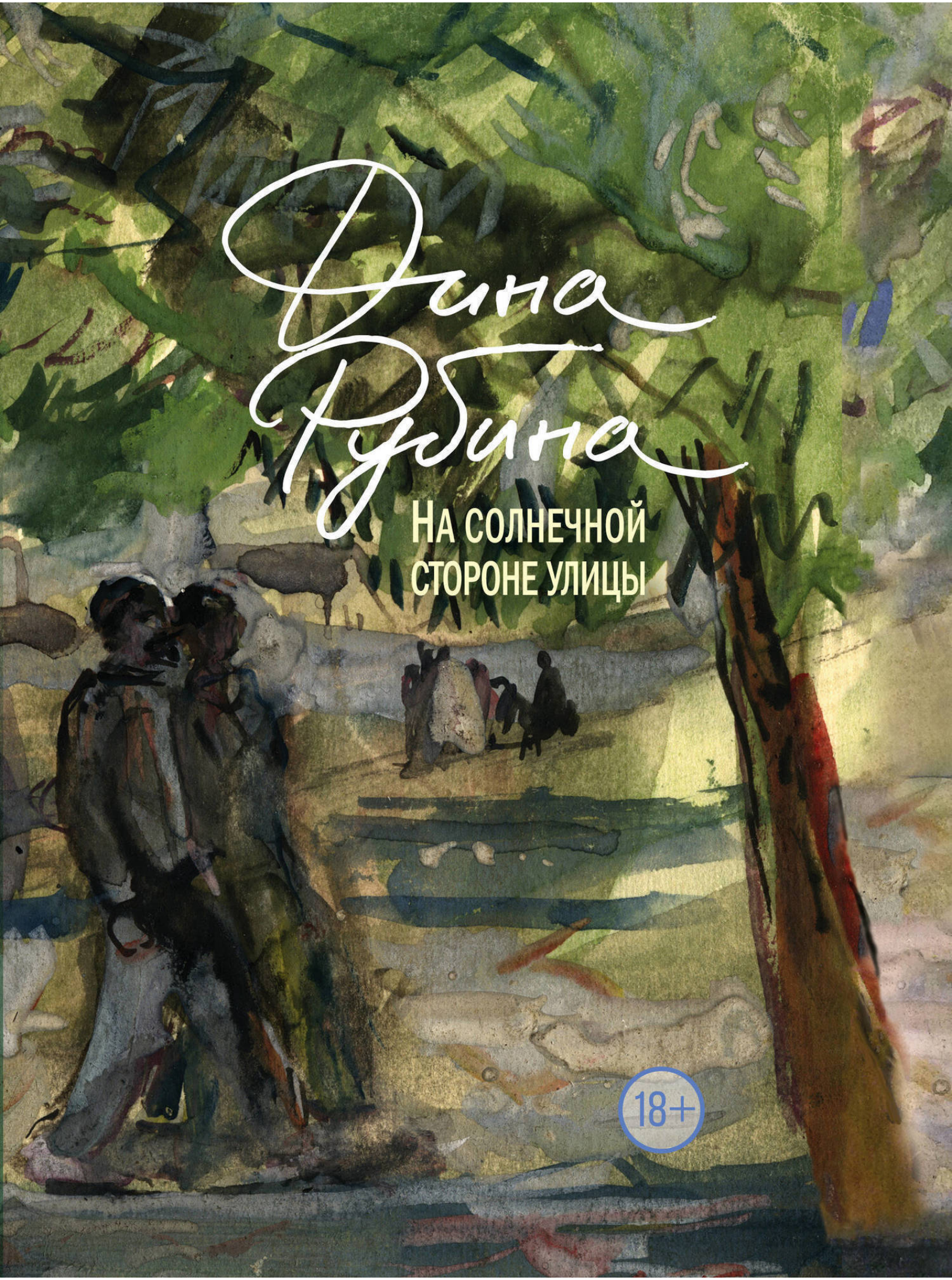

Дина Рубина
На солнечной стороне улицы
18+

Вечные семейные ценности. Исторические романы

Дина Рубина

На солнечной стороне улицы

«Эксмо»
2006

Рубина Д. И.

На солнечной стороне улицы / Д. И. Рубина — «Эксмо», 2006 — (Вечные семейные ценности. Исторические романы)

ISBN 978-5-04-258562-3

Главный герой книги «На солнечной стороне улицы» – сам Город, Голем романа… Я лишь вдувала жизнь в его глиняные дувалы, чтобы он встал перед нами – очарованный, шумный, яркий, столпотворимый. Я лишь рассадила по сюжету населяющие его существа, а их чувства и изреченные мысли придумала по возможности правдиво, чтобы обрели они плоть и пот; чтобы писательских приемчиков и ниточек, этих «набоковских домовых», которые, как известно, живут в тексте и прядут прозу, не удалось углядеть. Чтобы, просто-напросто, вчитавшись (а это ведь род заклинаний!), ты попадал в Город и начинал там жить… Мне хотелось, чтобы на поверхности этого романа необходимым миражом присутствовал причудливый сюжет – его арки и арыки, дворы и базары, кентавры и ангелы, святые и злодеи; чтобы витал над ним абсурдный азиатский быт, незыблемый в своей безумности, крутящий вверх ногами печальное черно-белое кино. Чтобы описанный, воссозданный мною, воплощенный в картинах моей героини Веры Город-роман полнился Вавилонско-Брейгелевским многоголосьем, баянился, строился, тянулся ввысь – возникал воочью. Чтобы в этом романе, на котором лежит солнечная печать моего детства, навечно поселилось сладостное прошлое: «И стал Ташкент»… Дина Рубина

ISBN 978-5-04-258562-3

© Рубина Д. И., 2006
© Эксмо, 2006

Содержание

Часть первая 6
1 7
2 14
3 19
4 23
5 25
6 28
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Дина Рубина
На солнечной стороне улицы

Часть первая

…для любого сколько-нибудь тревожного человека родной город… – нечто очень неродное, место воспоминаний, печали, мелочности, стыда, соблазна, напрасной растраты сил.
Франц Кафка. Письма к фройляйн Минце Э.

Я позабыла тот город, он заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж – дождевыми каплями на стекле.

Не помню названия улиц. Впрочем, их все равно переименовали. И не люблю, никогда не любила глинобитных этих заборов, саманных переулков Старого города, ханского великолепия новых мраморных дворцов, имперского размаха проспектов. Моя юность проплутала этими переулками, просвистела этими проспектами и – сгинула.

Иногда во сне, оказавшись на смутно знакомом перекрестке и тоскливо догадываясь о местонахождении, я тщетно пытаюсь припомнить дорогу к рынку, где ждет меня спасение от позора.

Я не помню лиц соучеников, и когда на моем выступлении в Сан-Франциско или Ганновере ко мне подходит некто незнакомый и, улыбаясь слишком ровной, слишком белозубой улыбкой, говорит: «Вспомни-ка школу Успенского», – я не помню, не помню, не помню!

…Тогда почему все чаще, возвращаясь из Хайфы или Ашкелона домой, поднимаясь в свой иерусалимский автобус и рассеянно вручая водителю мятую двадцатку, я глухо говорю:

– …В Ташкент?..

1

Из долгой, с ветерком, гастроли мать нагрянула неожиданно и, вызнав у соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. Нанесла три глубокие раны – убивать так убивать! – и села в тюрьму на пять лет…

Вера в тот день как раз читала «Царя Эдипа». Распластанная книжка так и осталась валяться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силясь подняться с карачек… Так что все оказалось по теме. Хотя убийства настоящего и не вышло. Дядя Миша, отчим, долго валялся по больницам, но окончательно не выправился – подволакивал ногу, клонился влево, подпирая себя палкой. Кашлял в кулак…

«Догнива-а-ает», – говорила мать, убийца окаянная.

Сама же отсчитала весь срок до копейки, и, когда вернулась, Вере уже исполнилось двадцать.

Вот вам конспект событий…

Если же рассказывать толково и подробно… то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? Конспектом. Оглавлением… В иную заглянешь и отшатнешься испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни?

* * *

Вернулась она тихо: позвонила в дверь двумя неуверенными звонками и, когда Вера открыла, прослезилась и обмахнула щеки дочери такими же неуверенными поцелуями. И то и другое было ей несвойственно.

«Присмирела, что ли, на казенной баланде?» – подумала Вера.

Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус – холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной юдоли.

Мать опустилась на табурет, медленно стянула с головы косынку (поседела, фурия, отметила Вера) и мягко, со слезою в голосе, вздохнула:

– Ну вот, вернулась к тебе твоя мамочка…

Привалившись острым плечом к дверному косяку, Вера молча наблюдала за нею. Только после ее слов, вернее, после этого красивого обнажения поседевшей головы, она поняла, что играется сцена «Возвращение мамочки», и мысленно усмехнулась. Мать между тем оглядела кухню уже другим, своим прихватывающим взглядом, поддала носком стоптанной босоножки обломок угольного карандаша на полу:

– Все малюешь… Я в твои годы горбила вовсю.

– А, здравствуй, мама! – словно узнав ее наконец, воскликнула дочь. И согнала с губ улыбку. – В мои годы ты вовсю спекулировала.

Та подняла на нее светлые рысьи глаза: видали верзилу? – стоит, жердь тощая, старая майка краской заляпана, взгляд угрюмый, насмешливый… Выросла. Самостоятельная!

Они глядели друг на друга и понимали, что жить им теперь, обеим, бешеным, в этой вот квартире. Нос к носу…

* * *

Я, пожалуй, встряну здесь ненадолго. Собою их не заслоню, хотя я и автор, вернее – одно из второстепенных лиц на задах массовки. Я и в хоре пела всегда в альтах, во втором ряду. Вы помните, конечно, эти немолчные хоры на районных конкурсах школьных коллективов? Если нет, я напомню.

Выстроились на сцене двумя длинными рядами. Одежда парадная: белый верх – черный низ, зажеванные уголки красных галстуков с утра тщательно отпарены плюющимся утюгом…

Второй ряд стоит на длинных скамьях из спортзала, не шевелясь и не дыша, потому что однажды, из-за подломившейся ножки скамьи, все дружно и косо, как домино из коробки, повалились на деревянный пол сцены.

Подравняться!!! Носки туфель чуть расставлены… Смотреть на палочку!!! Набрали в грудь побольше потной духоты зала, и!..

Вот хоровичка поднимает руки, словно готовясь долбануть локтями кого-то невидимого по обеим сторонам. Дирижерская палочка подрагивает и ждет. За роялем Клара Нухимовна: белое жабо крахмальной блузки, слезящийся нос, жировой горбик на шее… В черном зеркале поднятой крышки рояля подбитой голубкой трепещет отражение ее комканого кружевного платка.

И вот – бурный апрельский разлив вступления!

Взмах из затакта: повели медленно и раздумчиво…

Ветви оделись листвою весенней…
И птицы запели, и травы взошли,
Весною весь мир отмечает рожденье…

звук нарастает, жилы на шее хоровички натягиваются…

Великого сы-ы-на… Вели-кой земли-и-и-и…

И поехали с орехами:

Лееееееенин…

Это мы, альты и вторые сопрано, еще затаенно; и вдруг – восторженный вскрик первых сопрано:

– Ленин!!!
Это весны…

Первые сопрано, заполошно перебивая:

– Это весны цветенье!!!
Ле-ееенин…
Ленин!!!

Дружное ликование в терцию:

– Это побееееды клиииич!

– Славь-ся в века-а-ах…

Совместное бурлацкое вытягивание баржи:

– Лееееееенин!
Наш…

Вторые сопрано и альты, борясь за подлинную истовость:

– Наш дорогой Ильич!!!

И пошел, пошел, ребятки, финал – наш великий исход, исступление, искупление, камлание, сладострастие тотального мажора безумных весталок:

– Ле-ни-ну – слааааааааааааа-ва!!!
Пар-ти-и слааааааааааааааа-ва!!!
Сла-ва в векаааааааааааааааааа-ах!!!

…и вот теперь… подкрадываясь с пианиссимо, раскручивая птицу-тройку до самозабвенного восторга, по пути прихватив мощное сопрано нашей хоровички, налившейся свекольным соком, стремительно хлынувшим на лоб ее, щеки и монументальную грудь!!!

Слааааааааааааааааа-а-ва!!!

Обвал дыхания в беспамятство тишины.
Яростный гром аплодисментов под управлением жюри.

* * *

С неделю было тихо. Мать не трогала Веру, присматривалась. Правда, в первый же вечер в отсутствие дочери сгребла все холсты, подрамники, кисти и коробки с сангиной и мелом и свалила на пол в маленькой восьмиметровой комнате, где Вера обычно спала.

Большую же, пропахшую скипидаром, лаком и краской, – дочь считала ее мастерской и на этом основании превратила в свинарник, даже доски для подрамников в ней строгала, – мать отмыла, проветрила, постирала и повесила на окна старые занавески, пять лет валявшиеся в углу на стуле (света ей, дылде, видите ли, не хватало!), и для порядку прибила на дверь небольшую такую задвижечку, не засов какой-нибудь амбарный, – все-таки с дочерью жить, не с чужим человеком.

Вера, увидев это, ничего не сказала: в самом деле, нужно же и матери где-то жить. Жаль было только постановку для натюрморта, мать разобрала ее. Окаменелые от давности гранаты выбросила, а медный, благородно темный кумган обтерла от пыли тряпкой, служившей в постановке вишневым фоном, и переставила на подоконник.

«Ах ты, корова старая, – подумала дочь беззлобно, – я неделю ждала, пока он пылью покроется, чтоб не слишком блестел…»

Вообще Вера была настроена миролюбиво, мрачно-миролюбиво. Вечерами сидела в своей комнате и часами рисовала автопортреты, поминутно вскидывая глаза на свое отражение в остром осколке когда-то большого и прекрасного зеркала. Иногда раздевалась до пояса (натурщицы были не по ее студенческому карману) и таким же сосредоточенно-цепким взгля-

дом, словно чужую, вымеряла себя в зеркале: прямые плечи, робкую, как у подростка, грудь, втянутый живот…

В первые дни мать, все еще играя роль «вернувшейся мамочки», пробовала беседовать по душам, то есть совала нос не в свои дела, давала идиотские советы или принималась вдруг рассказывать душещипательные тюремные истории. Но нарвалась несколько раз на едкие замечания дочери и отступилась.

Дочь не пускала в свою странную, но, видимо, устоявшуюся жизнь. Ну и маячил между ними еще живым укором этот недобиток, который и получил свое, на что напрашивался…

У Веры как раз тогда заканчивался период длительного увлечения хатха-йогой; по утрам она уже не стояла на голове и не тратила полтора часа на позы с тех пор, как умножила эти полтора часа на семь (неделя), а потом на тридцать (месяц), и прикинула – сколько времени поглотило у нее бессмертное учение. Рассудив, что полтора месяца – довольно жирный кусок от ее, безусловно, смертной жизни, утренние занятия самосовершенствованием она прекратила, но все еще была убеждена, что, закрыв глаза и вызвав в воображении круг зеленого цвета, можно сосредоточиться и усилием воли погасить любые нежелательные эмоции – например, ярость при виде задвижки на двери, которую приколотила эта старая тюремная комедиантка.

С тех пор как мать вернулась, зеленый круг приходилось вызывать в воображении довольно часто, и у Веры появилось опасение, что вся ее жизнь теперь может пойти сплошными зелеными кругами: мать устроилась уборщицей в очередной стройтрест и понемногу набирала обороты: купила себе венгерские кроссовки, завилась и стала красить губы.

Вера насторожилась, как насторожился бы житель горной деревушки, заметив, что над давно погасшим вулканом вновь курится дымок.

И вправду, дней через пять, вечером мать ввалилась разгоряченная, деятельная. Распахнула пошире входную дверь: за нею, тяжело топая, поднимались по лестнице двое мужчин с ящиками на плечах.

– Рахимчик, сюда… Рахимчик, легче давай… – командовала мать. – Колюнь, ложь эту хреновину вот здесь… Осторожней, не побей!.. Та-а-ак…

Вера вышла из своей комнаты и молча смотрела на озабоченную беготню. Колюня и Рахимчик сбегали еще по два раза вниз, внесли шесть банок импортной краски…

– Рахимчик, ну что, – все там? Дай вам бог здоровья, ребятки, подмогли. Получайть! – Мать, как разгулявшийся купец в кабаке, с размаху вмяла в Колину ладонь трешку.

– Ка-ать… – с жалостливым укором протянул Коля, – натаскались же…

– Ка-а-люня! – Мать изумленно-ласково подняла брови. – А бог где? – и похлопала ладонью по молодой его, напористой груди. – Вот где бог-то! В нас-то он и есть…

Вера хмыкнула и даже вперед подалась, чтобы не прозевать Колюнину реакцию на божественный довод. С богом – это новенькая была хохма, может, в тюряге у кого переняла. Но Коля, несмотря на молодой возраст и, вероятно, вполне атеистический взгляд на мир, смутился и как-то потускнел. Бедняга просто не знал, что из матери невозможно вышибить лишней копейки, а то бы и вопроса такого нелепого не стал поднимать.

Когда парни ушли, Вера осмотрела ящики. В них была чешская кафельная плитка. Предположить, что мать решила ремонтировать квартиру, Вера никак не могла. Выходит, взялась за старое, коммерсантка чертова.

– По нарам соскучилась? – спросила ее Вера.

Мать оскорбилась не на слова дочери, а на тон – спокойный. Бесило ее это спокойствие.

– Заткнись, акварель чокнутая!

– Ну, сядешь…

Мать прищурилась азартно:

– Эт кто меня посадит, ты, что ль?

– Я!

Вера ответила так неожиданно для себя и вдруг поняла, что может посадить. Стоило бы, во всяком случае. Чтобы не одуреть от зеленых кругов перед мысленным взором.

Мать задохнулась от ярости:

– Ты?! Ты?! Ты меня посадишь, помазилка драная?! – И присовокупила длинно. И еще присовокупила.

– Ну, эту поэзию мы слыхали, – невозмутимо ответила Вера, повернулась и пошла к себе в комнату. Но не успела закрыть за собою дверь – мать подскочила и кулаком сильно ударила дочь по спине, между лопаток.

Вера в драку не кинулась, сдержала себя, хотя волна горячей крови долго еще гулким прибоем омывала сердце. И никаких кругов в воображении она вызывать не стала.

Отчеканила только с тихим, леденящим душу бешенством:

– Еще разок лапу на меня поднимешь – горько раскаешься…

* * *

И началось… Не жизнь, а война двух миров.

Сначала явился участковый – строгий белобрысый молодой человек немногим старше Веры. Проверил документы и предложил ознакомиться с заявлением. Вера без особого интереса пробежала глазами безграмотные строчки, написанные знакомой деятельной рукой, и расстроилась: мать вышла на военную тропу. В заявлении сообщалось, что гражданка Щеглова В. из 15-й квартиры, особа без определенных занятий, тунеядка склочного характера и аморального поведения, третирует весь дом постоянными дебошами, пьянством и сквернословием. Поэтому от всех жильцов большая просьба до работников милиции: будьте добреньки выселить гражданку Щеглову В. из квартиры, где она регулярно измывается над матерью с подорванным здоровьем. Подписана бумажка была: «группа соседей не откажуца потвердить». Далее стоял энергичный и невнятный росчерк материной подписи и приписка: «и зогадила всю квартиру».

Вера аккуратно сложила листок вдвое, вернула его белобрысому участковому и сказала:

– Заходи, компотом угощу, абрикосовым.

Участковый нахмурился и вошел. Вера налила ему в большую кружку компоту и отрезала кусок пирога с яйцом и луком. Ей слишком часто приходилось сидеть на диете, особенно в те месяцы, когда почти на всю зарплату закупала в художественном салоне материал – холст, бумагу, подрамники, лак… Так что, если вдруг заводилась свободная десятка и накатывало столь редкое у нее кулинарное вдохновение, Вера уж не жалела часа полтора потоптаться у плиты, чтобы затем в дивном одиночестве провести вечер наслаждений – за книгой, смакуя по кусочкам отбивную, зажаренную с луком и картофелем, отпивая медленными глотками кофе, сваренный ею по-настоящему, как Стасик научил, – с пенкой, подошедшей дважды…

– Что ж вы с соседями не ладите? – строго спросил участковый.

Вероятно, строгостью хотел уравновесить либерально-попустительское питье компота у проверяемой гражданки.

– Соседи у меня хорошие, – ответила Вера. – А бумажку моя мать писала.

Парень сильно удивился – видать, недавно приступил к обязанностям участкового, а может, просто рос в приличной семье. Даже перестал жевать. Снял фуражку, вытер платком потную красную полосу на лбу:

– Ну, дела-а-а… Чего это она?

– Такой характер лютый, – объяснила Вера… – Да ты не расстраивайся! Давай я твой портрет нарисую? Вон у тебя какое лицо… надбровные дуги какие, мощно вылепленные…

Участковый смущенно потрогал свои надбровные дуги, которые расхвалила гражданка Щеглова В., отодвинул пустую кружку и сказал:

– Да нет, в другой раз. Спасибо.

Он осмотрел квартиру, зашел в Верину комнату, внимательно оглядел расставленные вдоль стен холсты на подрамниках, большие картонные папки, коробки с пастелью и сангиной… пятачок свободного места с мольбертом у окна и топчан, занимающий чуть не треть комнаты…

– Да-а-а… Тесно тебе здесь…

Помолчал и добавил:

– Говорят – искусство, искусство! Работники искусства… А я гляжу – не очень-то у тебя чистая работа.

– Ну, у тебя – тоже… – усмехнулась Вера.

Уже на пороге он сказал озабоченно:

– Хорошо, что я по соседям сперва не двинулся. Может, вызвать ее в оперпункт, прижучить маленько?

– Не надо, сама справлюсь.

И объяснила насмешливо:

– Это из нее талант прет, понимаешь? Она талантливая, только образования нет, и жизнь была тяжелая – война, блокада… родные поумирали все. Если б ее вовремя образовать, вышла бы птица большого полета. Может, министр финансов, может, гениальная актриса…

Вечером она сказала матери:

– Значит, вот так: судиться и сволочиться с тобой я не буду. На это нужны время и вдохновение, а мне все это пригодится для другого дела… Не хочешь жить нормально – давай разменяться.

– Еще чего! – мать возбужденно улыбалась. – Я не для того квартиру зарабатывала, чтоб по ветру ее размотать!

*О том, как она**зарабатывала** эту квартиру, до сих пор ходили легенды в жилищном отделе горсовета. И долго еще после происшествия кто-нибудь из чиновников посреди совещания оборачивался к другому, прицокивал языком, подмигивал, говорил шепотом:*

– Адыл Нигматович, я как вспомню: ка-акая же-енщина, а? Груди-то видали, прям антоновка, золотой налив!.. Как думаете, она вправду с четвертого этажа сиганула бы?

– Э-э-э! – морщился Адыл Нигматович. – Глуп-сти! Тот дженчина просто бандитка некультурный, больше ничего. Какой воспитаний у него, а? Вишел голий на балкон, дочкя на перил садил… Кричал – сам прыгну, дочкя ронять буду!.. Гришя, подумай сам – зачем горсовет такой скандал! Пусть уже сидит в тот квартир, самашедчий дженчина!

– Ты у меня отсюда бесплатно вылетишь, вместе с картинками, ветер в ушах запоет!

«Портрет бы с тебя, стервы, писать, – подумала Вера. – Уж больно живописна в яркой косыночке на рыжей завивке, в оранжевой этой кофте… Посадить у окна, чтобы свет – слева, а фон приглушенный, пожалуй, серовато-синий… Тогда лицо приобретет сияющий зеленоватый оттенок, дополнительный к красному, яркому… Та-ак… Свет от окна освещенную часть лица сделает холоднее, чем затемненную… а на той будет рефлекс от теплых оттенков обоев… Хм… так-так… аккорды зеленого и красного повторить в одежде… да… и более глухими отголосками на спинке стула… и тогда среда наполнится энергией двух этих цветов, из которых возникнет живописная ткань портрета…»

Ну чего не жить как люди?

Вслух она сказала:

– Ну смотри, не обижайся…

Мать театрально захохотала.

2

Из большой и горластой семьи Щегловых – одних детей было трое, да мать с отцом, да тетя Наташа с сыном Володей, и все жили дружно и суматошно в двух комнатах в коммуналке на Васильевском острове, Четвертая линия, – так вот, из всех Щегловых в живых после блокады остались восьмилетняя Катя и брат Саша.

В армию Сашу не взяли из-за эпилепсии.

Их эвакуировали в Ташкент… И здесь Сашу и умирающую Катю взяла к себе на балхану узбечка Хадича.

* * *

«– Да нет, милая вы моя, все не так скоро делалось! И вообще, делалось-то как бы и не людьми, а безумной воронкой эпохи, которая всасывала всех нас в какую-то гигантскую утробу оцепенелого ужаса, голода и хаоса войны…

Вы извините, что я так сразу, и сразу – с критикой. Вы сказали, что собираете воспоминания бывших ташкентцев, как вы выразились – «голоса унесенных ветром», – ну, и я обрадовался. И хотя в Ташкенте я был только в детстве, в эвакуации, а потом вернулся в Саратов, я все же считаю себя вправе тоже «подать голос». Так что вот, посылаю запись…

…Я-то помню кое-что из того времени, хотя был совсем пацаном… – так, картинки отдельные. Представьте, что на некий азиатский город сваливается миллион вшивого, беглого оборванного люда… На вокзал прибывают эшелоны за эшелонами, город уже не принимает. И это разносится по вагонам, люди передают друг другу: «Город не принимает… не принимает… не дают прописку».

И все-таки горемычные толпы вываливались из поездов и оставались на привокзальной площади, расстилали одеяла на земле и садились, рассаживались целыми семьями в пыли под солнцем. Ступить уже было негде, приходилось высматривать – куда ногу поставить… А прибывали все новые, новые оборванцы… бродили по площади, встречали знакомых, спрашивали друг друга: «Вы сколько сидите?» Узнавали новости о близких, приходили в отчаяние… И все-таки сидели…

И мы с мамой сидели, изо дня в день… потому что ехать дальше означало гибель, а в Ташкенте выживали, цеплялись за какую-то работу, жизнь вытягивала соломинкой надежды.

Помню, на этой, залитой солнцем и застланной одеялами, площади лежала женщина в беспамятстве. У нее было сухое, обтянутое кожей лицо и губы, иссеченные глубокими кровавыми трещинами. Кто-то сжалился и смазал эти кровоточащие трещины постным маслом, и вдруг она, не открывая глаз, судорожно принялась слизывать масло с губ…

…А вот еще картинка: мы с мамой идем по улице, над головой – сплошная зеленая крона с узорными прорехами ослепительного солнца, у мамы в руке наш единственный фанерный чемодан… а вокруг на гремящих самокатах разъезжают мальчишки и кричат: «Жидовка, скажи «кукуруза!»»… Я держу маму крепко за руку и, конечно, верю в ее силу… но все-таки немного страшно… На вокзале можно было взять носильщика – дюжего мужика, – он обвязывался ремнями-веревками и пешком тащил чемоданы по адресу, какой скажут… просто шел впереди тебя, сгибаясь под тяжестью баулов и тюков… С носильщиком было бы не так страшно идти по чужому городу… Но у нас ни тюков, ни денег не было, поэтому мама несла чемодан сама, только руки меняла. Останавливалась, говорила мне, тяжело дыша: «Подожди… зай-ди с другой руки»… и мы шли дальше… А самокаты сужают круги, все теснее кружат на своих гремящих, подвизгивающих подшипниках: «Жидовка, скажи «кукуруза!»».

Мама вдруг остановилась и в сердцах крикнула: «Холера тебе в пузо!!!»… И это так понравилось мучителям, что они отстали…

…Рынки, конечно, помню… Алайский рынок, знаменитый… это был какой-то… Вавилон! Вот уж действительно где смешались языки-наречья, пот, слезы, тряпье, тазы, ослы, арбы, люди… А ворья сколько! Вся страна беспризорная, голытьба окаянная сползалась в город хлебный, теплый… Люди говорили: «Самара понаехала!», почему-то считалось, что самарцы – сплошь ворюги… Когда в кинотеатрах стали крутить кино «Багдадский вор», появилась присказка: «Пока смотрел «Багдадский вор», ташкентский вор бумажник спер»…

Помню, на рынке однажды поймали вора. И кто-то уже стал звать милицию, а один дядька – краснорожий, однорукий, сказал: «Не надо, сами справимся!»

Несколько мужиков сгрудились над пойманным, и только слышно: уханье – и хрясть, хрясть! Так дружно, так остервенело били!.. И только потом я догадался, что били-то его свои и что однорукий краснорожий был, наверное, главарем шайки, а того, пойманного, била вся его шобла, била до полусмерти – таким образом спасая…

Шестьдесят пять лет прошло, а эти картины у меня перед глазами как вчерашний день… И вообще, сколько за плечами осталось – Саратов, Москва, десятки городов… Вот сейчас и до конца уже – Марбург, а я до сих пор, стоит только закрыть глаза, так ясно представляю себе эту улочку, по которой мы с мамой идем, – высоченные кроны чинар сплетаются над головою в зеленый солнечный тоннель…»

* * *

…Хадича, маленькая проворная женщина, подвязав с утра косынкой седые жидкие косицы, целый день бесшумной юлой крутилась по утоптанному, чисто выметенному дворику.

А Катя умирала…

Истонченный блокадным голодом желудок отторгал пищу. Девочка лежала на цветастых курпачах, расстеленных на балхане, и молча глядела в теплое узорное небо, сквозившее радужными снопиками сквозь листья чинар. Виноградные лозы оплетали деревянные столбы балханы. Настырный ветерок трепал на плоских крышах алые лепестки маков… Где-то во дворе с курлыкающим ровным звуком день и ночь вдоль дувала катился арык…

Саша сидел рядом, обхватив колени, – сутулый, мосластый, сам донельзя худой, – и тихо плакал: он понимал, что Катя умирает и он остается один из Щегловых, совсем один, в этом бойком южном городе, среди чужих людей. Он никого к Кате не подпускал и все разговаривал с ней, отворачиваясь и отирая слезы рукавом рубашки.

– А потом, Катенька, мы поедем на острова, на лодке кататься. Помнишь, как первого мая, до войны? Нам тогда еще двух лодок оказалось мало, тетя Наташа на берегу осталась… А Володька так перегнулся через борт – за твоим уплывшим шариком, – что мы чуть не перевернулись… помнишь? Я буду грести, а ты вот так сядешь на корме и руку опустишь в воду, а вода ласковая, теплая… Это обязательно будет, Катенька…

Хадича поднималась на балхану, смотрела на девочку, качала головою и бормотала что-то по-узбекски.

Под вечер, завернув в головной платок сапоги старшего сына, Хикмата, ушла и через час вернулась без сапог, осторожно держа обеими руками поллитровую банку кислого молока.

– Кизимкя, бир пиалушкя катык кушяй, – озабоченно приговаривала она, натряхивая в пиалу белую комковатую жижу.

– Оставьте ее… – угрюмо простонал Саша, – все равно вырвет…

И тут лицо тихой Хадичи изменилось: она тонко и гневно закричала что-то по-узбекски, даже замахнулась на Сашу худым коричневым кулачком, сморщенным и похожим на сливу-сухофрукт.

Осторожно подложив ладонь под легкую Катину голову, приподняла ее и поднесла к губам девочки пиалу. Катя потрогала губами прохладную кисловатую массу, похожую на жидкий студень из клея, а еще на довоенный кефир… послушно отхлебнула и потянулась – еще.

Хадича отняла пиалу, покачав головой: нельзя сразу. Весь вечер она просидела возле девочки, разрешая время от времени делать два-три глотка…

На другой день размочила в оставшемся молоке несколько кусочков лепешки и позволила Кате съесть тюрю.

Саша уже не плакал. Он бегал к колонке за водой, раздувал самовар, помогал у тандыра, подметал двор, и бог знает что еще готов был сделать для этой женщины, для ее четверых, тоже хронически голодных, смуглых, точно сушеных, ребятишек. Двое старших сыновей Хадичи постигали правила русского языка в окопах Второго Украинского фронта, муж давно умер.

Дня через три Катя уже сидела во дворе на большой квадратной супе, свесив слабые тонкие ноги, опираясь спиною о подоткнутые Хадичой подушки, и глядела с тихим удивлением на крикливые игры ее черноглазых детей. Говор ей был непонятен, а игры понятны все…

С того военного лета этот город, эти узбекские дворики с теплой утоптанной землею, эти сквозистые кроны чинар, погруженные в глубину неба, означали для нее больше, чем просто жизнь; все это было жизнью подаренной.

* * *

«– …Это вы замечательно решили – писать роман о Ташкенте! Такой город не должен быть забыт. И, знаете, здорово придумано – собирать «голоса». Каждый такой голос – а нас, бывших ташкентцев, по всему свету разбросано немало, – может вам отдельный роман наговорить, роман своей жизни. И я с удовольствием наговорю, что помню…

Я тут недавно набрел в Интернете на сайт под названием «Алайский», и там перекличка наших земляков: «Кто учился в мужской средней школе им. Сталина, Хорезмская, 8, – откликнитесь!»… «Кто с Тезиковки, ребята, – отзовитесь!»… Какой-то местный парень берет заказы на фотографии. Ты называешь объект: главпочтамт, например… – помните каменных львов на его угловом, вечно заколоченном парадном? Говорили, это единственные каменные львы в городе. У меня они ассоциируются с детством, потому что няня разрешала посидеть верхом то на одном, то на другом – они в разные стороны смотрели, словно торчали на шухере… Или, например, консерватория… или памятник в парке Тельмана… Так, значит, этот парень фотографирует нужный объект за сущие копейки и присылает – все-таки, память… Очень удобно! Живешь ты у себя в Солт-Лейк-Сити лет эдак тридцать, а снится тебе ночами Шейхантаур, сине-лазурный орнамент на мавзолее шейха Хавенди Тохура, кладбище, мечеть… Площадь, где проходили гуляния на узбекских праздниках, особенно после уразы – религиозного поста. Да, Шейхантаур… Это был город в городе, знаете. Такой Багдад: путаный бесконечный лабиринт переулков, тупиков, бесчисленного множества узбекских дворов… А что такое узбекский двор? Это комплекс полного жизнеобеспечения. Сам дом, наверху – балхана… Тут непременно объяснить надо не местным: балхана, это… это балкон – не балкон… не антресоль, а нечто вроде пристройки наверху, так что дом, помните, казался двухэтажным… А крыши… они земляными были, поэтому весной на них прорастала трава, трепетали нежным пламенем первые маки под еще свежим ветерком…

По двору протекал арык, над ним строили такой квадратный деревянный помост –*айван,* или *супу*... бросали на него множество *курпачей* – небольших, простеганных вручную ватных одеял. От них всегда попахивало прелым человеческим душком; стирать их не стирали, а выве-

шивали на солнце – сушили, проветривали… На айване спали, принимали гостей, чаи распивали… От арыка шла прохлада в жаркий день, и звук бегущей воды успокаивал, расслаблял…

Во дворе всегда была пристройка, кухня, и низкая кирпичная, обмазанная глиной печь –*тандыр,* в ней пекли лепешки, самсу… Дух горячей узбекской лепешки забыть невозможно, он снится мне здесь, в штате Юта, по ночам… Снится, как молодой узбек палкой поддевает ее, вынимает – круглую, в подпалинах на бугорках, с обожженными зернышками тмина, а посередке у нее вдавленный такой, жесткий, хрусткий пятачок, за который можно душу дьяволу продать! И от нее волна горячего запаха… как бы это объяснить… материнского запаха, знаете… вот, слов не хватает! Да мир на этом запахе стоит!

А в самих домах я помню такие низкие, как кофейные столики, печки – не помню принцип, по которому они работали, врать не стану… а только сидел ты на полу, на курпачах, ноги засовывал под этот столик и чувствовал тепло. Было замечательно! А стряпали многие во время войны – на чем? На мангалке! Я, знаете, за свою жизнь бывал во многих местах, поездил по командировкам, но нигде больше такой народный агрегат не встречал. Сейчас опишу… Берется старое ведро, и из него делается печка. Дырявятся по бокам два отверстия – одно для дров, другое – золу выгребать. Поверху – решетка из толстой проволоки. Чтоб железо не прогорело, изнутри ведро выложено обломками кирпича и обмазано глиной. На мангалках половина Ташкента всю войну варила и кипятила…

Вот что озадачивало у них с непривычки – туалет. Обычная пристройка в углу двора, с дыркой, чтоб сидеть на корточках, а у стенки – ведро, полное круглых глиняных камней. Если у русских в туалетах на гвоздике висели обрывки газет или листки из школьных тетрадей, то у узбеков вот камни использовались для этой нужды… Интересно, правда? Мы, конечно, притаскивали свой материал для такого ответственного дела. Помню, в туалете мне попался лист из какого-то старого журнала, там была напечатана вредная белогвардейская поэма, называлась «Драма русскаго офицерства», и внизу страницы: «Типография Г.А. Ицкина, въ Ташкенте». Взрослые не обращали внимания, чем подтирались, хозяева-узбеки тем более… А я просек что-то необычное, запретное. Пацана запретным только помани! Приволок лист домой… И так мне отец за него по ушам навесил! Лично сжег на свечке! Да только поздно, поздно… память-то детская, само все в нее влетает… Я уже наизусть много строчек знал, хотя не все. Представляете – даже сейчас начало помню. Там так:

Христосъ Всеблагій. Всесвятыйю Безконечный,
Услыши молитву мою,
Услыши меня, о Заступникъ Предвѣчный,
Пошли мнъ погибель в бою
На родину нашу намъ нъту дороги:
Народъ нашъ на насъ же возсталъ,
Для насъ онъ воздвигъ погребальныя дроги
И грязью насъ всъхъ закидалъ.
Въ могилахъ глубокихъ безъ счета и мъры
Въ своемъ и враждебныхъ краяхъ
Сномъ въчным уснули бойцы офицеры,
Погибшіе въ славныхъ бояхъ.
Но мало того показалось народу:
И вотъ, чтобъ прибавить могилъ,
Он, нашей же кровью купившій свободу,
Своихъ офицеровъ убилъ.

…Ну и так далее, дальше уже не помню… Что за народ? Каких таких своих офицеров он убил? Когда все это стряслось? Взрослых я спрашивать опасался: шла наша собственная война, где героями были и солдаты, и офицеры. И долго мне смысл этой поэмы казался темным…

Да, так Шейхантаур… там все было свое – парикмахерские, школы, юридический институт, зубоврачебный кабинет, рынок. Даже кинофабрика – в ней еще немые фильмы снимались! И все жили скопом, как в кучу наваленные… По соседним дворам у нас много лепилось раскулаченных русских, старообрядцев, были татары, армяне, евреи… Во время войны эвакуированные жили даже в мечети, позже она стала складом, а с возрождением национальной независимости… но этого я уже не знаю, это уже не при мне.

Ну и чайханы на каждом шагу… Узбекский мужчина без чайханы не может никак – это как для англичанина его клуб. Узбеки сидят в чайхане в чапанах – полосатых и синих ватных халатах, в чалмах, в тюбетейках… и весь день пьют чай, потеют… – им пот служит вентилятором, а чапан удерживает температуру тела в течение всего дня. Вековые народные традиции – так спасаются от жары. Но еще – и это тоже, никуда не деться, вековые традиции! – из темной глубины помещения всегда потягивает характерным запахом гашиша, по-ихнему –*анаши*… Восток без дурмана, говорил мой отец, что скупой без кармана.

Лет пять назад приезжал я уже отсюда, из Солт-Лейк-Сити, в Ташкент – взглянуть на свою первую школу. Ничего не узнал! Все перестроили; вместо милых ташкентских особнячков – какие-то циклопические сооружения псевдо-мавританского шика: купола, арки, мраморные гигантские площади под нещадным солнцем… Идешь к такому издали, думаешь – ну, это, наверное… парламент? Величественный, инопланетный, нечеловеческих пропорций… Театр на двадцать тысяч мест? Подходишь ближе, выясняется: какой-нибудь Дом моделей.

А от Шейхантаура, моего Шейхантаура, который я избегал босыми ногами вдоль и поперек, и кругом, и петлями, так что моей «стезей» уличной можно бы, наверное, обернуть экватор… – от Шейхантаура осталась только изразцовая мечеть. Стоит как ворота в никуда – в город, которого нет больше ни на одной карте…»

3

Нищие старики и старухи стоят у крыльца булочной, что на Каблукова, ждут – иногда какие-то сумасшедшие, отоварив карточки, дают им довески. Но Катя никогда не дает – как можно?! Хлеб?! Разве хлеб можно отдать, хотя бы крошку?! Нет, она торопясь проходит мимо и, только отойдя шагов на двадцать, достает из пакета довесок и медленно съедает: сначала пережевывает мякоть, не глотая, – тогда слюна проникает во все крошки, наполняет их, пружинистая пористая плоть хлеба набухает, превращаясь там, во рту, во вкуснейшую кашу… Теперь можно постепенно глотать, распределяя кашу языком на части…

Иногда, если день начинается удачно, довесок попадается с мягкой, еще теплой коричневой корочкой. Ее можно с самого начала отгрызть, подержать в кулаке, пока лелеешь во рту мякоть, а потом всю дорогу до дому сосать корочку, пока и она не растворится совсем. Но и тогда еще долго вылавливаешь из-за щеки и подталкиваешь языком к зубам разбухшие крошки…

Еще Саша на своем авиационном заводе добывает талоны на обед. Обеды выдают в консерваторской столовой, через окошко, во дворе. Надо только приходить со своей кастрюлькой. И Катя приходит, ни разу не пропустила! Она лучше школу пропустит! Чего она в той школе не видела? Все равно мысли только о еде… К окошку выстраивается очередь, но это ничего, постоять можно, только Катя всегда волнуется, что ей не хватит. Первые блюда разливает алюминиевым мятым половником здоровенный мордатый парень с кудрявым чубом через все лицо. Заставить бы его подхватить заколкой, чтоб в половник не попал. Однажды в очереди перед Катей стоял пожилой дядечка с седой бородкой, в шляпе. Он принял у мордатого свою кастрюльку, отошел в сторону и стал выливать мутную жижу на землю. Вернулся к окошку и спрашивает: «Какой у вас выход?» Мордатый что-то буркнул. А тот: «Нет, здесь не будет столько!» – «Да чего ты привязался!» – «А того, что я и сам был поваром и знаю, что к чему!» Повернулся и пошел с пустой кастрюлькой. А чубатый вслед ему нагло и насмешливо пропел: «Сам был поваром и знает, что все повара воруют!».

И вся очередь промолчала, словно люди боялись, что следующему затируха не достанется…

К обеду полагался еще кусочек черного хлеба, его выдавали в буфете, это с главного входа консерватории и направо. Буфетчица обмотана крест-накрест оренбургским платком, и точно таким же платком обмотана ее толстая дочь-даун, Катиного возраста. Она все время смотрит на Катю сонными добрыми глазками… Наверное, жрет с утра до вечера, вот и добрая, вот и спать хочется… Этих всех, добрых, Катя ненавидела особенно: если добрая, да улыбается, значит, уж точно что-то у меня украла…

Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом – такое выпало счастье! Главное, Катя с утра чувствовала, что сегодня случится что-то особенное! Толстая буфетчица резала пирог, взвешивала порции, и короткие ее пальцы лоснились от повидла… Катя продвигалась в очереди, неотрывно смотрела на сладкие эти пальцы с отставленным в сторону мизинцем и лихорадочно думала: «Чего ж она пальцы-то не оближет?! Или дала бы дочери ползать…»

Эх, а вот бывает же счастье: однажды перед школой, как раз когда все высыпали во двор на перемену, опрокинулась двуколка, а вместе с ней и бочка патоки. Бочка лежала на боку, патока вытекала черной густой сладчайшей кровью, в луже ее топталась лошадь, которую дурак-возница никак не мог выпрячь… В секунду, как рой мух, на лужу налетела малышня, совала пальцы в патоку, облизывала. Кате тогда много досталось – она билась как безумная, раскидала многих. В классе ее даже мальчишки боятся…

У входа в консерваторию тоже слоняются нищие. Они очень надоедливые, хотя не все, – вот на Пушкинской, между домами 39 и 41, всегда сидит инвалид, играет на камышовой дудке одну и ту же бесконечную мелодию – однообразную, очень грустную. Никогда ничего не просит, костыли рядом лежат, на земле. Люди проходят и что-то дают. Но Катя?! – Нет, нет! Тем более никогда ничего она не даст Примусу – чокнутому бородатому деду с палкой. Примус, тот, наоборот, никогда не сидит на месте. Его можно увидеть где угодно – на Шейхантауре Катя тоже встречала его не раз, а однажды видела, как он с проклятьями гонялся за пацанами, которые дразнили его: «Примус, Примус, горелая жопа!», и бросался на них как дикий, чуть Кате не досталось палкой.

Вот кого надо опасаться – это беспризорников. Они воруют карточки, и нет ничего страшнее на свете, чем карточки потерять. Недавно Катя видела женщину, у которой беспризорники вытащили карточки на месяц. А месяц ведь только начался! Та сидела на крыльце булочной и выла, как бешеная собака, и кусала свои руки с такой силой, что по ним уже и кровь лилась. Люди толпились вокруг, жалели, конечно, но чем тут поможешь?.. Не будь растяпой…

Нет, все-таки хорошо в Ташкенте, вот уже скоро весна, значит, тепло придет, и – солнце будет все лето! Все лето будет солнце…

* * *

…И долго еще Катя жила с ощущением подаренной жизни, долго; пока на авиационном заводе, где работал Саша, не взорвался паровой котел. Люди всякое говорили, кто-то утверждал, что не сработал изношенный предохранительный клапан. Но больше было таких, кто горел ненавистью к расплодившимся врагам народа; всплыло ходкое в те годы слово «диверсия», делу был дан соответствующий ход, всех, кто в ту ночь дежурил на заводе, и Сашу в том числе, судили и припаяли большой срок. Но Саша до тех мест, где выпало срок отбывать, не доехал, он умер по дороге от сердечного приступа. Так Кате сказали в окошке, а идти добиваться правды она боялась. Да и куда идти?

В тот год она заканчивала ФЗУ по специальности «швея-мотористка», жила в общежитии и уже не верила в подаренную жизнь, а понимала, что нужно отчаянно драться и много вытерпеть за этот подарок.

– Ну что, Саша, – строго прошептала она колючими сухими губами, – не поедем уже на острова на лодке кататься…

Сделала на руке наколку «Саша» – синей тушью и, чтобы перебить в себе щенячий скулеж тоски, больно укусила свой кулак.

В этот же вечер Катя побила соседку по комнате, шуструю компанейскую хохлушку, – за то, что та потешалась над ее шепелявостью.

* * *

«… – Тебе когда-нибудь снится военный Ташкент, мам?

– Так, иногда… если голодная на ночь лягу. А ты к чему спрашиваешь, я для тебя тоже – «голос в романе»?

– Почему бы и нет. Ты ведь не чужая этому городу.

– Знаешь, что снится? Наша студенческая столовка возле Воскресенского базара… как я мухлюю там с талонами!

– Как это – мухлюешь?

– А так, на них на каждом стояла дата, проставленная карандашом. Надо было стереть ее резинкой и встать в другое окошко.

– Тогда можно было взять вторую порцию? А чем кормили?

– Да там только одно блюдо и было в меню: затируха. Не суп и не каша… а жидкая бурда на муке. Ты должен был являться со своей миской и своей ложкой, тебе наливали порцию… Причем к этой столовке прикреплены были и студенты, и профессорский состав. У меня однажды случай смешной произошел… Я случайно поменялась портфелями (они одинаковые были, клеенчатые) со знаменитым московским профессором по фамилии Хайтун, он читал у нас курс истории древних веков по собственному учебнику. Сам Хайтун был страшно уродлив, но необыкновенно остроумен. Помню, впервые войдя в аудиторию, сказал: заниматься будем по моему учебнику с моим портретом – и поднял его над головой: на обложке был нарисован неандерталец.

Так вот, я, понимаешь, сидела за первым столом, чтобы не заснуть после заводского дежурства. Наши портфели лежали рядом. Прозвенел звонок, он схватил мой и пошел. Я вспомнила – что там у меня в портфеле… чуть со стыда не умерла! Догоняю его в коридоре, говорю: «Профессор, вы по ошибке взяли мой портфель!» Он ахнул, мы обменялись своими клеенчатыми кошелками… и я, осмелев, говорю: «Мне ужасно стыдно: если б вы его открыли, то обнаружили бы только миску и ложку для «затирухи»!» Он расхохотался и в ответ мне: «Дитя мое, если бы вы открыли мой, то увидели бы то же самое»…

Они, бедные, голодали пуще нашего. Особенно зимами. А я тебе рассказывала, какие страшные зимы на войну выпали? Университет не отапливался… Боже, в каких обмотках и тряпье они ходили, наши профессора! Была преподавательница одноногая, она курила, ее мальчики наши угощали «Беломором»… – так одна из дур на курсе, с обмороженными ногами, как-то сказала ей: «Вам хорошо, у вас только одна нога!»… И еще преподавательница Московского университета – Кирова Кира Эммануиловна – вот надо же, помню! – жутко была одета… Она эвакуировалась в одночасье, – понимаешь, времени не было собраться. Так и ходила – в митенках разного цвета, чулки и носки разные… Но! Входила в аудиторию и начинала лекцию с того слова, которым закончила предыдущую!.. Бедняги, они совсем доходили… Не могли же они, как мы, подрабатывать… Вот я – отлично жила!

– Отлично?! Ты говорила, что подвязывала веревками картонные подошвы туфель.

– Ну и что? Ну и подвязывала! Но я ж на заводе еще 800 граммов хлеба получала, шутка ли? Я его продавала и ходила на спектакли. Знаешь, какая театральная жизнь была в военном Ташкенте!

– Что за спектакли?

– Ну, разные… В ГОСЕТе, например, шли «Тевье-молочник», «Фрейлахс» с Михоэлсом и Зускиным… Помню, рядом сидели какие-то офицеры, вовсе не евреи, – в Ташкент же было эвакуировано несколько военных академий, – ничего на идиш не понимали. Услышали, что я гогочу, подсели ко мне и потребовали, чтобы я переводила… Ну, я и переводила весь спектакль… Не знаю – то ли время было такое, военное, то ли нравы почище, но только мы что-то не слышали о каких-то бытовых преступлениях. Я после спектаклей всегда шла пешком до общежития…

– А где было общежитие?

– На Лобзаке, по десятому трамваю… Общежитие, кстати, тоже всю войну не отапливалось. Мы как согревались? Сдвигали по две кровати, укладывались вместе по трое девчонок и накрывались тремя одеялами… Эх, а какой мы однажды устроили картофельный бал! Картошка была недостижимой мечтой, пятьдесят рублей кило. И мы сбросились со стипендии – целый месяц мечтали, копили! – накупили картошки, наварили ее, и… обожрались, как целый полк Гаргантюа, – до отвала! И все как одна блевали потом всю ночь. Организм, понимаешь, отвык от такой еды… Хотя вот, знаешь, что у нас варили в заводской столовой? Черепаший суп! Столовую можно было опознать по горе панцирей на заднем дворе. Целые грузовики черепах гнали из Голодной степи… Мы сначала поеживались, не знали, что это французский деликатес… Потом – ничего, особенно когда постоишь на морозе на посту, на вышке… А морозы

по ночам до тридцати градусов доходили… За счет чего еще держались, хотя и не подозревали о полезности: на улице Навои сидели в ряд узбечки, продавали орехи. Мисочка – рубль. В нее штук десять орехов входило. А еще покупали в «дорихоне», в аптеке, бутылку сладкой жижи, тягучей, как смола, называлась «Холосас». Вытяжка из шиповника. И пили так чай: положишь три ложки в стакан – вкусно! Понятия не имели: витамины, калорийность, то-се… но именно это помогало выжить… Мы и на хлопок первое время ездили с большой охотой. Еще бы – в день полагалось на рыло три лепешки и похлебка! Еду узбеки готовили; казалось бы – что там в этой похлебке, а – пальчики оближешь! С нами и профессора выезжали. Помню, профессор Сарымсаков – ректор наш, математик, крупный ученый, входил в студенческий барак утром – огромный фартук на брюхе, лицо и руки сажей перемазаны – и кричал: «Самовара подана!»… Понимаешь, мы были молоды, такая вот банальность. Сейчас я себе представить не могу, как зимой, бывало, в телогрейке стояла с винтовкой на вышке…

– Погоди, а ты же говорила, что работала в цеху, обтачивала корпуса для мин…

– …это уже потом, по блату меня устроили. Понимаешь, однажды мерзавец-нарядчик забыл меня сменить, и я на морозе четыре часа проторчала на вышке. Но ведь не уйдешь, нельзя… и я доковыляла до цеха утром, на рассвете, – стою, плачу, пальцы обморожены, не разгибаются… Меня увидел замначальника 2-го цеха, подозвал, разговорился со мной (оказывается, я ему напомнила его девушку, которую он потерял, не спрашивала уж – как), ну и поставил меня на станок… Там многие работали, второй цех был большой. Дети несовершеннолетние тоже… Некоторым приставляли ящики, чтоб до станка доставали… У меня были ночные смены.

– Постой, днем – университет, ночами – завод… Когда же ты спала?

– Ну, это уж как где прихватишь… У меня в жизни самый сладкий сон знаешь, когда был? С четырех до пяти утра. Это самое страшное время, когда можно задремать и угодить ненароком в станок. Мы по очереди ходили спать в туалет, он отапливался… Сядешь вот так, прямо на цементный пол, коленки обхватишь, к стенке спиной привалишься и минут двадцать дремлешь… Это и есть самый сладкий сон на свете… Подобного уже никогда в жизни не было… Так и напиши в своем романе…»

4

Мать, если уж ставила перед собой какую-нибудь цель, то не отступалась; как дальнобойная торпеда, насквозь прошивала любое препятствие на своем пути. Идея выжить из квартиры дочь так крепко засела в ее голове, так засияли райскими чертогами в ее воображении две совершенно свободные комнаты, что заявления в милицию и в ЖЭК она писала аккуратно, через день, дело это знала, понимала, что в нашем государстве свет клином на желторотом пацане-участковом не сошелся, есть и посолиднее люди, заступятся за обездоленную мать.

Заступились.

Утром раненько прибыл «воронок» с двумя ментами, и забрали их обеих в отделение – разбираться в пухлой папке заявлений. Вера поехала как была – в заляпанных краской джинсах и ковбойке, – тот еще видок.

Всю ночь она просидела над срочным и выгодным заказом: несколько плакатов для соседней сберкассы (деньги в руки и на месте), и хотя утром заставила себя засесть за мольберт, – все же выпускной курс, надо и диплом писать, – рука была вялой, глаз «мылился».

Вера словно ожидала всего этого: не удивилась, выяснять и объяснять ничего не стала, молча полезла в «воронок». Только взгляд потемнел и отяжелел. Она не глядела на мать.

Та – напротив, как увидела милиционеров, встрепенулась (решила, что за Веркой приехали), и на лице изобразила горестное смирение: мол, только крайность, только горькая моя доля заставляет просить защиты от зверств родной дочери; но когда и ее под локоток повели к машине, вскинулась, возмущенно запричитала и, к большому удовольствию всего двора, долго отбивалась, как дикий вепрь, упираясь толстыми, широко расставленными ногами в кроссовках, – пока ее не утрамбовали в «воронок».

Весь день их продержали в КПЗ. В камере мать приутихла и даже пробовала вступить с дочерью в переговоры, чтобы вызнать – не намерена ли Верка рассказать о ящиках с чешской плиткой. Но Вера молча сидела на полу, обхватив приподнятые колени и уперев в стенку нехороший свинцовый взгляд.

Только не здесь, уговаривала она себя, только не здесь… Главное усилие ее было направлено на то, чтобы не смотреть на мать. Куда-нибудь в сторону, в грязно-зеленую стенку, всю исчирканную непристойными рисунками, ругательствами и именами, в пол, в решетчатое окошко под потолком, за которым временами взмахивал тополь худой рукой… только не на это, в красных пятнах, возбужденное лицо, не на эти рыжие кудряшки, не на эти невыносимые кроссовки. Иначе можно сойти с ума от взрывающей все изнутри ненависти. Только не здесь, только не здесь…

Под вечер дверь камеры открылась, пожилой милиционер-кореец повел их коридорами на второй этаж, в кабинет, где с полчаса с ними беседовала грузная женщина в форме.

Вера отвечала на ее вопросы – имя, фамилия, да, нет, – что-то односложное, чтобы не сбить себя с этой спасительной мысли: только не здесь.

Мать вела себя смирно – видать, приуныла за целый голодный день в КПЗ, а может, вспомнила свой недавний барак, и воевать с дочерью расхотелось…

Сидела и подобострастно кивала с сокрушенным видом. Вера была убеждена, что она «представляет» – траченную жизнью, больную мамашу. Сцена под названием «Я понесу и этот крест…».

Когда женщина-следователь поднялась из-за стола и прошла к шкафу за каким-то бланком, Вера увидела ее ноги – отечные, перевитые темными венами, как виноградной лозой. Она произносила казенные бессмысленные слова размягченным от жары голосом, вытирала пот с

полного лица, и видно было, как она устала за день, как хочет принять душ, накинуть халат и лечь в свою постель. Такая жаркая стояла, исступленная осень. Тяжелое небо и ни капли дождя.

– И это уж в последний раз, – вяло говорила женщина в форме. – Как же так, родные люди! Как же так можно? Надо прощать друг другу недостатки, слабости…

«Слабости, недостатки, – думала Вера. – Только не здесь».

Душно было, тягостно, голова ломилась от долбящей затылок боли, – видно, менялось атмосферное давление или сказывался голодный день.

– Я правильно говорю, Вера Семеновна? Вера Семеновна?

– Только не здесь, – глухо проговорила Вера.

Наконец их отпустили.

Домой шли молча. Вера впереди, мать – чуть отставая. Уже стемнело, но Вере казалось, что в глазах у нее темно от душной, тягучей ненависти, такой же давящей, как атмосферное давление.

Мать что-то почувствовала – до самого дома плелась притихшая и понурая, как овца.

Они поднялись на четвертый этаж. Вера открыла дверь, пропустила мать в темную прихожую и вошла следом, гулко хлопнув замком.

Схватила мать за горло и, сильно сжав пальцы, привалила к стене.

Мать захрапела, выкатила глаза так, что в темноте прихожей они сверкнули стеклышками оцепенелых зрачков, и впилась ногтями в руки дочери. Та сдавила ее мягкое полное горло еще сильнее… Мать закатила глаза и обмякла. Вера почувствовала дурноту.

– М-м-м… м-месяц! – проговорила она срывающимся шепотом. – Месяц даю тебе, чтоб разменяла квартиру… Через месяц не разменяешь – убью!

Мать разменяла квартиру за две недели.

* * *

Шарахнулись друг от друга в противоположные концы города. Два часа добираться двумя автобусами. А зачем, и к кому? Ни та к этой, ни эта к той…

Вера привезла в свою однокомнатную малогабаритку на последнем, четвертом, этаже этюдник, книги, картины и Сократуса в рюкзаке…

Кот выпрыгнул в пустой комнате, ошалело огляделся и до вечера обхаживал новое жилье, оскорбленно уворачиваясь от нежностей, бесшумно возникая то в кухне, то в ванной… Потом оба поужинали купленными по пути сырыми сосисками, и Сократус хмуро улегся на Вериных тапочках. Ему, хлебнувшему тяжелого детства, бытовые потрясения были не по нутру.

Она же долго стояла посреди пустой комнаты, не зная – с чего начать здесь жизнь. Хотелось чаю, но мать забрала чайник себе, как, впрочем, и все остальное.

Окно комнаты выходило на дорогу, круто обегавшую островок старинного мусульманского кладбища.

Говорили, что здесь похоронен какой-то святой невысокого ранга. При строительстве жилого квартала дорога должна была накрыть собой и выгладить три-четыре древние могилы, но старцы ближайшей *махалли* отвоевали у горсовета покой для святых костей. Щетина выгоревшей травы мирно пробивалась между лазурными плитками щербатого куполка мавзолея. А за дувалом древнего кладбища ехал новый синий троллейбус.

Вера достала свой любимый блокнот в черном кожаном переплете, карандаш, примостилась боком на подоконнике и стала все это зарисовывать. Когда стемнело, бросила на пол, под батарею, осеннее пальто, растянулась на нем и через минуту уже уснула молодым неприхотливым сном – не мята, не клята, – в своей собственной квартире, в своем углу…

5

Не было своего угла у Кати. Она работала на кенафной фабрике и снимала угол в одной семье.

Семья – неутомимая старуха баба Лена, ее дочь Лидия Кондратьевна, учительница математики, и внуки Колян и Толян – были домовладельцами: им принадлежала половина дома – комната, кухня и прихожая с террасой.

Дом держался на бесценной бабке. Дикой энергии была старуха. С утра затевались одновременно стирка, готовка, шитье новых наперников на подушки. Тут же разводилась в ведре побелка, и баба Лена сама, подоткнув юбку, раскорячившись, взбиралась на табурет и скоренько белила потолок в прихожке. Бывало, именно в такой горячий момент в переулке раздавался тягучий, как зов муэдзина, рев керосинщика в жестяной рупор, а через минуту въезжала машина с углем, которым топили голландку, обогревающую и эту, и другую половины дома. Баба Лена успевала все: и за керосином сбегать, и скомандовать – куда уголь сгрузить, и поругаться с шофером, и перекинуться новостями с керосинщиком… Жизнь ее кипела и бурлила, как вываренное белье в баке.

Кроме того, бабка снабжала семью овощами, половину двора занимали ее грядки с картошкой, морковью и луком, – двенадцатилетние оболтусы Колян и Толян жрали без перерыва, хватали все, что на глаза попадется, а однажды стащили из-за занавески и слопали целую пачку печенья, которую Катя купила с получки, побаловать себя.

На это бабка Лена восхищенно выматерилась и развела перед Катей руками.

Бабка потакала внукам, мать избивала. За все: за бычки, найденные в уборной в углу двора, за вранье, за опустошенную кастрюлю с борщом, за воровство яблок с соседской яблони.

Приходила бледная после целого дня работы, ела наспех, садилась за проверку тетрадей и сидела над ними за полночь – с серым лицом, слезящимися глазами. Сыновьями не управляла, а потому просто лупила. Те уже отбиваться стали, вопили, валили друг на друга.

– У тебя почему, сволочь, изо рта дымом несет?!

– Да я это, ма… я во рту бумагу жег… ай, не бей, мам, пусти!!! Это все Толян!

– Я?! Это ты, гад, сам первый… Ай, мама!!! Это не я… это… беспризорники меня поймали… и курили… и дым мне в рот вдыхали! Не бе-е-ей!!!

Бабка потакала, мать избивала. Колян и Толян колотились между двумя этими женщинами и сатанели день ото дня.

Катя старалась возвращаться попозже. Трамваем доезжала до конечной, в район Шейхантаура, и еще минут пятнадцать шла пешком, мимо освещенной чайханы, где до утра в любую погоду в ватных халатах сидели узбеки на курпачах, пили чай с колотым желтым сахаром, заедали лепешками; шла мимо мечети, мимо угасающего, но шевелящегося базара: кто-то еще продавал оставшиеся виноград и арбузы, два-три алкаша валялись чуть ли не под колесами арбы, полной дынь, отдающих ночи свое теплое желтоватое мерцание… Вдоль дувала, на котором углем кто-то написал: «Шурик отбил у Левы толстожопую бабу», разгуливал сторож-узбек с ружьем, неизвестно что охраняющий – базар, мечеть или здание киностудии… В летней тишине, насыщенной запахами травы и деревьев, остывающего асфальта и трамвайных рельсов, запахами огромной пряной, дрожжевой-пахучей, навозной туши базара, слышалось кваканье лягушек, пение сверчков и далекий зов привязанного на задах базара осла…

…В то время завелись у Кати кое-какие дела. Не бог весть каким наваристым местом была кенафная фабрика, но нет-нет да и удавалось вынести под кофтой метр-другой парашютного шелка, прочной белой материи с синими кляксами, – ее женщины брали на платья.

Материю скупала у работниц веселая спекулянтка Фирузка, оторва, лихо мешающая узбекский язык с русским матом.

– Катькя, ти, сука, буд скромни кизимкя, ти не торгусся, джаляб!

Катя торговалась отчаянно, копеечно, не только потому, что становилась скупее с каждым днем, а потому еще, что дрожащим холодком ютилась в душе ее сиротская тоска, и никого ей не было жаль, и никого она не любила. В цеху ни с кем не сходилась, никогда не выслушивала ничью историю, не сочувствовала – считала, что ей собственной истории хватает, кто бы ей посочувствовал. Одна и одна. Даже в гости пойти не к кому, даже прогуляться «по Карла-Марла» не с кем…

* * *

Улицы послевоенного Ташкента… – глинобитные извилины безумного лабиринта, порождение неизбывного беженства, смиренная деятельность по изготовлению библейских кирпичей…

Совсем недавно, уже в Иерусалиме, валяясь, как обычно в Судный день, на диване и читая Пятикнижие, я обнаружила, что мой дядька возводил свой кривобокий саманный домишко на Кашгарке из таких же кирпичей, какие лепили в египетском рабстве мои гораздо более далекие предки. Вот он, вечный рецепт кирпичей изгнания: смешиваем глину с соломой и формуем смесь руками. Руками, господа, руками, – и блажен тот раб, кто может сказать о себе: «Это мне не пригодится!»

Она всплескивает во мне и, очевидно, не смолкнет уже до самого конца – музыка улиц послевоенного Ташкента. С утра под звяканье бидонов выпевал густой голос молочницы: «Моль-лё-коу! Кислий-пресний мол-лё-ко-у!»… Ей вторил голос другой, помоложе: «Кисляймляка! Кисляймляка!»… Вслед за этим дети ее стучали в дверь и спрашивали без выражения: «Сухойхлэбесть?» – сухой хлеб они размачивали и кормили им своих животных. Молча распахивали чистую полотняную торбочку, в которую мы ссыпали корки и горбушки, если же хлеба не было, так же бесстрастно переходили к другой калитке.

Чуть позже раздавалось шарканье галош, и зычный голос старьевщика раскатывал-разворачивал: «Шар-ра-бар-ра пакпайм! Ста-а-арий вэшшшш!» Дважды в неделю, запряженная полудохлой клячей, в переулок въезжала колымага, и престарелый герольд в телогрейке, провонявшей керосином, поднимал свой жестяной рупор: «Кар-ра-сы-ыин!» – вздымая интонацию в середине слова соответственно наклону самого рупора…

Из солнечной сердцевины дня могли вынырнуть странствующие стекольщик или точильщик – каждый со своей поклажей: всплеск солнца, стекающего с плеча на землю по квадрату стекла; огненный пересверк и брызги фиолетовых искр с лезвия точимого ножа…

Эмалевый блеск высокого неба в кронах платанов и тополей.

Ближе к вечеру, мягко озаренный уходящим светом, приезжал старый узбек на тележке, запряженной осликом: «Джя-аренный кок-руз!» – и дети разбегались выклянчивать у родителей гривенник на белый рассыпчатый шар жареной кукурузы…

А спустя несколько лет над этими разрозненными звуками, голосами, припевками, певучими зазывами, высоко распахнется, блаженно их накрывая, беспредельный ангельский шатер «Джа-ама-а-а-а-ай-ки!»…

* * *

Жизнь в углу, за занавеской, под вопли Коляна и Толяна, тяготила Катю, но деваться было некуда, да и брали с нее недорого. Вечерами баба Лена звала пить чай за круглым столом, за которым обедали, делали уроки, проверяли тетрадки, кроили и шили, на который взбирались

белить потолок, – крепкий дубовый стол, неизвестно когда и каким прибоем переселенцев привезенный в Ташкент и купленный бабой Леной по случаю.

Катя выходила чай пить не с пустыми руками, всегда что-нибудь выносила из-за занавески: то стакан орехов, то горсть карамели на тарелочке. Это крепко в ней сидело: не одалживать и не одалживаться.

Вот так, в один из вечеров, за чаем завязалась свара, а потом и драка между верзилами Коляном и Толяном. Один погнался за другим, на бегу опрокинул стул с сидящей на нем Катей, и, падая, она вскрикнула тонким пронзительным голосом: страшная боль резанула желудок…

…Потом, когда уже ей сделали операцию, баба Лена объясняла соседям:

– Желудок, вишь, порвался. Она в блокаду наголодалась, желудок сильно тонкий стал, ну и порвался. А Толян тут ни при чем, так и врач сказал. Этот желудок, говорит, прям на честном слове у нее держался! Это, скажи еще, повезло, что ее привезли в его дежурство. Он как глянул на ее губы синие, голубые, так и скомандовал – на стол!

…После операции несколько дней Катю кололи морфием, – никак не унять было вопящее от боли нутро. Затихнув на короткое время, свернувшаяся кольцами боль вновь поднимала скользкую змеиную головку и, сквозь ватный заслон забытья, жалила, жалила изнутри…

Катя плакала, выла, требовала морфия… В конце концов, сердобольная медсестра Галя не выдержала и сбегала за врачом. Как раз той ночью дежурил Сергей Михайлович, тот, что оперировал Катю. Когда он вошел в палату и строго наклонился над ней, она схватила его за полу халата, крутанула, наматывая на кулак, жалобно, стонуще приговаривая:

– Велите ей, Сергей Михалыч, Сергей Михалы-ич!!! Велите, чтоб укол сделала. Не могу! Не могу – не могу – не могу-у-у!!!

Он приблизил к ее дикому, залитому слезами лицу свое – худое, с длинными морщинами на вдавленных щеках, вроде даже отчужденное – и проговорил строго:

– Катя! Не безобразь! Терпеть надо!

И вышел. Но минут через десять вернулся, сел на ее койку, положил на тумбочку пачку «Беломора», достал спички и сказал:

– Ну, Катя, будем курить…

Так начала она курить, и с того дня полжизни, пока были в продаже, курила только папиросы «Беломорканал»… В тот раз они спасли ее от морфия, спасали и потом – от боли, от страха, от тоски. И покупая бело-голубую, с веной канала, пачку, Катя неизменно вспоминала Сергея Михайловича, чувствуя благодарное тепло в груди, которым даже немного гордилась: вот, значит, и она умеет любить кого-то.

Выписавшись из больницы, несколько раз приходила к Сергею Михайловичу, сидела в ординаторской и стеснялась. Он угощал ее чаем с сушками, расспрашивал про жизнь, а что Катя могла ему рассказать? Про кенафную фабрику? Про отчаянную спекулянтку Фирузку? Про чувство тошноты и уныния, которое накатывает на нее при виде прыщавых физиономий Коляна и Толяна? К тому же однажды за Сергеем Михайловичем зашла жена, жизнерадостная блондинка с морковными губами, с модной завивкой «москвичка», в широком плаще с надставными плечами…И Катя сжалась, цыкнула на свою теплую глупость и дурацкую надежду и ходить к Сергею Михайловичу перестала…

6

В воскресенье на новую Верину квартиру пришел взглянуть Лёня. Деловито обшагал пустую комнату, потоптался у окна, восхищаясь трогательным куполком мавзолея, приговаривая:

– Ну и отлично… Ну и замечательно…

Как обычно, сунулся листать Верин блокнот, который сам же и привез ей в прошлом году из командировки, из Таллина. Квадратный, удобный, в обложке из черной кожи, с тисненными золотом латинскими инициалами ее имени, – этот блокнот был вечным: изрисованный блок бумаги вынимался, а вместо него вставлялся другой. А еще на кожаном исподе были пришиты две петельки – для ручки и карандаша. Дивный блокнот, вот что значит традиции кожевенных ремесел у прибалтийских народов!

Под мышкой Лёня держал огромный квадратный сверток, тяготился им и не знал, как от него отделаться поделикатнее.

В комнате стоял только старый, заляпанный краской табурет, который Вере подарили на работе, в детском садике, и у стены, прямо на полу, лежал на брюхе безногий топчан. Он прослужил соседке лет двадцать и года два уже как откинул копыта, так что, собравшись вынести старую рухлядь на помойку, соседка на полпути была остановлена Верой, и с удовольствием помогла той сопроводить топчан на четвертый этаж.

Ну и картины стояли вдоль стен штабелями, и открытый этюдник у окна.

– Вот… – сказала Вера, – потихоньку меблируюсь с помойки. Лёня, если б вы знали, как я уже люблю эту комнату, и какая я счастливая!

– В пустой квартире тоже есть своя эстетика, – заметил он, – ожидание новой жизни. А что это за синяя лента, вот здесь, на мольберте завязана? Какой интенсивный цвет на желтом дереве! Это концептуально? Это такой цветовой камертон?

– Да нет, это… – отмахнулась она, – некий талисман, на удачу… У этой ленты есть своя история. Потом, потом как-нибудь…

Он сделал три больших шага от окна к табурету, сел на него, сказал, ворочая на острых коленях сверток:

– Господи, куда ж эту штуковину девать? Подержите-ка, Вера, я очки протру!

Вера взяла у него сверток, неожиданно оказавшийся легким и пружинистым. Лёня протирал очки платком, вечно сохраняющим у него белизну и острие складки, и обводил стены рассеянным своим, близоруким взглядом.

– Да бросьте это куда-нибудь, – посоветовал он.

– Куда? – спросила Вера. – А что там?

– …так, по хозяйству. Вообще, это вам.

– Мне? – настороженно переспросила она, заранее пугаясь размеров свертка.

И развернула его.

В бумаге лежал сложенный плед из шотландской шерсти, золотисто-шоколадный, в крупную темно-вишневую клетку, немыслимо роскошный для этой комнаты и, конечно, немыслимо дорогой. У Веры даже дыхание перехватило от возмущения.

– Лёня, вы сумасшедший человек! – расстроенно сказала она, заворачивая плед в бумагу. – Вы спятили совсем! Что за дикие подарки? Забирайте немедленно!

– Вера, прекратите скандалить, – привычно возразил он. – Это полезная хозяйственная вещь, и вы… будете укрываться этой тряпкой… и больше ничего!

– Я прекрасно укрываюсь своим пальто, еще не хватало, чтоб вы на меня сотни выбрасывали! – воскликнула она, как всегда заводясь и заранее зная, что перешибить его невозможно. – Заберете как миленький!

– Чепуха! Не устраивайте сцен.

– Заберете! – бессильно выкрикнула она, чуть не плача.

– Чепуха, я сказал.

– Да идите к черту!

Он пошел… на кухню, зажег газ, поставил на плиту чайник, стал доставать из портфеля свертки с едой. То есть вторая часть скандала ожидала его на кухне. Но он привык. Он, как и Вера, до известной степени был человеком ритуала. Поэтому они никогда не ссорились. Только ругались.

Лёня – если не считать угасающего, выхаркивающего душу отчима – был, в сущности, единственно близким другом. Единственно близким – после смерти Стасика. Служил он в вычислительном центре Института ядерной физики, где-то в поселке Улугбек, и занимался какими-то *модульными базами данных,* что-то в них *закладывал* или, наоборот, *выкладывал,* не важно! Она ничего в этом не смыслила, да и не торопилась разобраться.

Знакомы они были тысячу лет – года четыре, наверное…

* * *

В то время мать уже с полгода отдыхала от коммерции и страстей в казенном доме, работала там по специальности – швеей-мотористкой, изредка присылала с отбывшими срок какое-нибудь изделие: дивно вышитую наволочку или узорную сумку, плетенную из лески, – мать все-таки была рукодельницей удивительной.

Дядю Мишу, искалеченного и теперь постоянно трезвого, после больницы забрала к себе Клара Нухимовна; видать, не превозмог он себя – вернуться в тот проклятый Катин дом, да и на четвертый этаж не было сил подниматься. А Клара Нухимовна поселила его в новом флигельке, во дворе, – хорошая беленая комнатка, три на четыре, с отоплением, с окошком, смотрящим на грядки с черносмородинными кустами, – что еще нужно больному человеку? Он почти не выходил на улицу, в хорошую погоду часами лежал в гамаке, натянутом между корявыми старыми яблонями, и смотрел в небо, словно упорно пытался с такой невероятной дистанции дознаться: за что?..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.